

Ю. И. ЮДИН¹

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ²

Первые встречи

Ноябрь 1956. Кончились дожди, проглянуло яркое солнце, светит бледным золотом без тепла и лучей. Асфальт подмерз и высох. Ветер несет по нему и свивает кружева легкой пороши. Нева стала темно-синей, от нее веет холодом и речной осенней свежестью.

Нам хорошо. Мы молоды, ходим на лекции, пишем, занимаемся мало, больше приглядываемся, знакомимся, обсуждаем и считаем себя призванными судить по праву молодости.

Идем вдоль Невы к Меншиковскому дворцу, заброшенному и никому не нужному. Громко разговариваем, теперь уже не вспомнишь, о чем. Навстречу нам движется невысокий пожилой человек в осеннем пальто. Седые волосы выбиваются надо лбом под простенькой зимней шапкой довоенного покроя. Глаза карие под седыми бровями и какие-то прозрачные, как спелые ягоды. Нос, усы, борода клинышком напоминают смутно фотографии времен Первой мировой войны. Нос, впрочем, слегка покраснел от мороза. Он напомнил бы и о детстве и елке, но взгляд — немного усталый, внимательный и не улыбочивый. Все выдает старого петербуржца, сохранившего приверженность дореволюционной профессорской моде.

Это В. Я. Пропп. Он нам уже знаком и нравится, хотя лекции его и кажутся нам слишком простыми. Потом мы узнаем, что он и пишет, как говорит. Поднял глаза, увидел. Серьезно и без намека на иронию, не улыбаясь даже взглядом, со сдержанным уважением и чувством собственного достоинства здоровается первым, снимая не то утонченно интеллигентным, не то простонародным жестом шапку и слегка кланяясь. Прямые седые волосы растрепаны.

¹ Юдин Юрий Иванович (1938–1995) — филолог, фольклорист. Доктор филологических наук, профессор, специалист по эпосу и бытовой сказке, преподаватель Курского государственного педагогического института (университета).

² Впервые опубли.: <http://www.pragmema.ru/yudin-yu-i-o-proppe>.

Мы отвечаем дружно, но как-то непроизвольно дергаемся: кто-то неумело кланяется, кто-то вздергивает руку к кепке или лыжной шапочке с козырьком. Но поздно, наш профессор уже прошел мимо, оставив впечатление чего-то знакомого. То ли собственное школьное детство мелькнуло и простилось с тобой, то ли новая неизвестная жизнь показалась на миг, не дав приглядеться.

О методе

Лекцию начинает с банальностей. Странно слышать о том, что кажется всем известным. Но вот прозвучало неожиданное сопоставление, встретилось новое определение, возник факт, тебе не знакомый. Начинают звучать выводы. И ты видишь что-то совершенно непривычное, невероятное и завораживающее своей неузнаваемостью. Пробегаешь весь путь рассуждений в обратном направлении: нет, никакого подвоха, ни пропуска звена в рассмотрении, ни сбоев в последовательности, ни недостатка в фактах. Возникает впечатление очевидности как высшего критерия убедительности.

— Изучение фольклорного жанра, — говорит он, — мы начинаем со структуры того, что признали жанром. Мы, как зоологи, начинаем со скелета.

А далее идет морфология волшебной сказки с поразительными выводами. И при этом тут же нам показывают, что не все так просто:

— Последнее «отчего» в эстетической радости для нас пока закрыто. Но это не должно нас останавливать. И нельзя строить иллюзий, водить самого себя за нос. Нужно ясно видеть, что наука имеет дело исключительно с двумя вещами: с фактами и методом их осмысления.

При этом для него очень важны исходные понятия. Однажды он принес на кафедру только что купленный альбом репродукций Эд. Мане. Раскрыв на странице, где был знаменитый «Завтрак на траве», спрашивает меня:

— Что здесь, по-вашему, изобразил художник?

Минут десять я рассуждаю о приглушенном древесной тенью колорите, о контрастной яркости солнечных бликов, о бархате мужской одежды, впитывающей свет, и обнаженном сверкающем женском теле под прорвавшимся сквозь кроны солнцем, о соединении натюрморта со случайной компоновкой фигур. Сюжет, говорю, не имеет большого значения и смысла. Это какое-то мелькнувшее отрывочное видение, вроде грезы наяву.

Он выслушивает, не перебивая, характерно прикусив нижнюю губу до самой бородки клинышком, будто проверяя себя. Помолчав, говорит, чуть причмокнув:

— Художники писали свои модели на открытом воздухе, а потом вместе сели позавтракать.

Высшей похвалой в его устах было сказать:

— В этой работе нет ни одного мнения, есть только выводы, сделанные из ясно осмысленных фактов.

Как становятся фольклористами

Однажды он очень немногословно, как говорят о чем-то дорогом и давно пережитом, сказал, что в юные годы его глубоко поразили «Повесть о Петре и Февронии», древнерусская архитектура и Волга, ее города, села и берега, которые он увидел во время плавания. Так пришло ощущение таинственной красоты, которое потребовало понимания. Из того же источника питался интерес к народной сказке, о которой В. Я. Пропп начал раздумывать и писать, работая школьным учителем.

Годы учебы

— У нас, — заметил как-то Владимир Яковлевич, — философию преподавал Александр Иванович Введенский, автор работы «О Канте действительном и воображаемом» и др. Он приносил с собою «Критику чистого разума». Читал на немецком языке одну-две фразы и затем просил прокомментировать. Так за год прочитали мы не больше десяти страниц, но зато потом я читал Канта свободно, и не его одного.

Некоторое время спустя я вспомнил его рассказ. Он что-то спросил о Белинском, я ответил. Видно, его не устроил мой ответ. Он раскрыл статью, о которой шла речь, на первой странице и предложил почитать. Я бойко начал, но он остановил на начальной фразе и предложил объяснить, о чем в ней сказано. Разговор затягивался, постепенно становясь все интереснее и интереснее.

В мире своей профессии

Независимость суждений и взглядов, а также и горячих страстей была его ярко выраженной чертой.

— Знаете, это такие вот философемы, — сказал он о «Проблемах поэтики Достоевского» М. М. Бахтина. — Такие книги можно в 18 лет писать каждый год.

И он же был потом самого высокого мнения о его «Франсуа Рабле».

— Они объявили меня генералом, а я бы предпочел быть среди них фельдфебелем, — сказал он как-то, смеясь, о сторонниках структуралистского направления.

Он мог долго и с удовольствием говорить об удачной находке в студенческой работе, но иногда начинал вести себя несколько загадочно. На книжных полках его кабинета стояли фолианты немецкого собрания работ Генриха Вельфлина. Искусствоведческий подход этого автора казался мне очень близким «Морфологии сказки», и я несколько встреч всячески старался навести на него

речь. Владимир Яковлевич это, безусловно, замечал, но сразу же становился сдержан и даже суховат:

— Да, Вы говорите, Вам нравится Вельфлин?

И все, и больше, по существу, ни слова. Так и остался для меня загадкой его невысказанный ответ на мой вопрос, который не оставляет меня почему-то до сих пор.

Он своеобразно умел прервать пустое словопрение, когда собеседник пытался переубедить его, задавая, в сущности, один и тот же вопрос в разных вариациях. Попадая в такие ситуации, я иногда слышал:

— Вы меня спросили — я Вам ответил.

А за этим как бы стояло:

— Придумайте новые аргументы, но не повторяйте раз за разом одно и то же.

Однажды на кафедре я застал его за тем, что он старательно отделял от конвертов марки. Заметив мой взгляд, он охотно объяснил:

— А!.. Это письма из Африки. Они пишут всякие глупости, но вот марки у них очень интересные!

При этом глаза у него излучали детское любопытство.

— Хорошо бы организовать институт фольклора со своим изданием, — сказал я.

— Это было бы совершенно бесполезно, — ответил Владимир Яковлевич. — Лучше разнообразие, заинтересованное творчество ученых-одиночек и энтузиастов, которые не обузданы организацией. Практически она бывает чаще вредной.

— Если бы я не был филологом, я охотно занялся бы ботаникой, вопросами систематизации. Это такая увлекательная область! — услышал как-то от него.

Во время другой встречи у него неожиданно вырвалось:

— Как хорошо было бы стать ночным сторожем. Независимость, и столько времени для размышления, когда никто не мешает.

О литературе и искусстве

Не соглашается, когда я с восторгом говорю о писателях времен его молодости.

— Нет, — говорит, — вот у одного из них есть такая сцена: хозяин выходит во двор, а следом за ним идет собака, чтобы подлестить, когда его вытошнит. Нет, для меня есть другая литература. У Пушкина:

И тихо край земли светлеет.

Сколько за этим стоит. Это так много!

— А вот Вы еще скажите. — продолжает, — что Вы видите в словах «Мой дядя самых честных правил»?

— Пожалуй, ничего сверх того, что сказано словами.

— А для моего поколения это целый мир!

И было видно, что ни мне, ни моим сверстникам этого не скажешь, потому что для нас все это останется на уровне слов. Мы из другого мира.

Кого он любил безо всяких оговорок и о ком находил свои неповторимые слова и интонации, был А. П. Чехов.

— Как мог этот почти мальчик так почувствовать психологию старого профессора в «Скучной истории», — высказался он однажды о чем-то глубоко личном.

Его благоговейное отношение к Гете хорошо известно, но мы не очень хорошо знаем, как он вообще переживал наследие европейской классической культуры. Иногда это неожиданно прорывалось. На семинаре он однажды по какому-то конкретному поводу сказал:

— Тут перед нами идея универсального человека, величайшая идея.

И оборвал себя, не продолжая.

Прервав консультацию, садится за домашнее пианино:

— Я хочу Вам сыграть Шуберта. Вы услышите, что я нашел и понял в этой вещи.

Сам он готов был увидеть значительное где угодно, снобизма не терпел ни в каком виде, вдумчивость и смелость доверять себе в суждениях притягивала к нему многих.

Но за всеми его суждениями чувствовалась впитанная с детства общеевропейская и русская народная культура. Включив разговор о М. Врубеле в свой спецсеминар о сказке, он прочитал о нем целую лекцию. Это были не вполне привычные оценка и взгляд. Говорил современник о своем старшем современнике, аудитория почувствовала это. Одна из тогдашних аспиранток, ныне известный литературовед, тут же записала мне в тетрадь наше общее впечатление от услышанного: «С тех пор как нас отторгли от всяких традиций и пр., люди, как Пропп, — чудо». Шел 1966 год.

Об иностранных языках

— Когда я писал «Исторические корни волшебной сказки», — рассказал он, — мне приходилось читать на 11 языках. Это не значит, что я смог бы поговорить с голландским матросом, но работу на его языке прочитал бы.

Как-то я сказал, что занимаюсь немецким.

— Очень хорошо! — живо отозвался он, — Тут я что-то понимаю и мог бы помочь.

Много лет спустя мне все вспоминалась эта фраза. Что он имел в виду? Он что, сомневался в том, что в фольклоре что-то понимает? Теперь мне наконец стало совершенно ясно, что он подразумевал, говоря так. Не знаю только, есть ли у меня самого что-то, в чем я по-настоящему мог бы помочь другому.

О природе

Об одной пышной литературной даче сталинских времен в Комарове опальный Б. М. Эйхенбаум, говорят, заметил:

— Ампи́р во время чумы!

У Владимира Яковлевича дачи не было, он снимал на лето одну-две комнаты у хозяйки на Финском заливе. Мы с женой приехали к нему и вместе прогуливались по песчаным дорожкам среди сосен и заросших кустарником дюн. Чуть шумел залив, тогда еще чистый. Проглядывал песчаный берег, пахло хвоей, водяной пеной и, если пофантазировать, чем-то вроде лесного меда.

— Меня не слишком манит юг. Я больше люблю нашу северную природу, она духовнее, тоньше, — говорит он.

Нижегородец в недавнем прошлом, я сразу же согласился, хотя юга к тому времени еще не видел. Курынка-жена знала русскую лесостепь, по было ясно, что у него-то речь идет о России и ее особенной красоте, доступной не всякому пониманию.

И потом, уже в городе, услышал другое:

— Я в восторге от метро! Какая свободная, умная красота, рациональность, соединенная с оригинальностью и талантом.

Тогда еще на станциях метро не было того, что делается сейчас.

О женщинах

Я оппонирую на дипломной защите у студентки Владимира Яковлевича. Дипломница волнуется и от волнения никак не может остановиться и закончить свою вступительную речь. Ей, видимо, кажется, что стоит прерваться — и все пропало, заговорят другие, и неизвестно, чем все закончится. Председательствует Василий Григорьевич Базанов. Чем заняты его мысли, не знаю, но выражение лица у него какое-то зверское. Наконец студентка вообще залепетала непонятное и смолкла.

Стараюсь сделать все, чтобы помочь защите хорошей работы. Делаю замечания, которые, на мой взгляд, должны обнаружить серьезность и самостоятельность обсуждаемых результатов. Главная моя забота и беспокойство — смягчить Базанова. Владимир Яковлевич сидит с отсутствующим видом, глаза тусклые, лицо расслабленное — не лицо, а маска, голову положил на ладонь, опирается рукой на стол. Говорят, таким он бывает на заседаниях Ученого совета ЛГУ, когда затрагиваются «серьезные» идеологические вопросы.

Между тем студентка отвечает мне удачно. Объявляют перерыв. Спускаюсь по лестнице, навстречу поднимается В. Г. Базанов. Вероятно, прочел что-то на моем лице. Останавливается и доверительно, с самой задушевной улыбкой говорит:

— А девчушка — ничего! Миленькая, умненькая. Правда?

— Ничего себе! — думаю. — Сначала перепугал до смерти, а теперь — умненькая!

Но вот объявляют оценки. Моя подопечная получает «отлично». И тут, когда все поднимаются для поздравлений, Владимир Яковлевич отзывает меня в сторону и говорит:

— Как Вы могли, как Вы додумались делать девушке такие замечания?

— Но, Владимир Яковлевич, мне-то Вы делаете намного более жесткие и резкие?

— Вы — другое дело! Ведь Вы мужчина. Вы совершенно не понимаете женского сердца! Как Вы так можете?

Тут ему подносят большой букет цветов, которые он очень любит. А мне — заметно поменьше, скромнее, но тоже со вкусом подобранный. Он смотрит на меня несколько секунд молча. Потом с совершенно спокойной улыбкой говорит:

— Ну естественно. Я Пропп, а вы еще только подьячий.

Все мы — бывшие студенты

Перед окончанием университета мы встречались в комнате нашего общежития с симпатичными нам преподавателями. Приглашали девушки. Наши профессора с радостью откликнулись. За прошедшие пять лет мы неплохо узнали друг друга.

Когда близко к полуночи мы провожали Владимира Яковлевича, он говорил с нами, откликаясь на любые темы и любые наши благоглупости. Все были навеселе, а тут еще совсем недавно мы научились варить неплохой глнтвейн.

— А вы знаете, — говорил Владимир Яковлевич, — вот эти движения в твисте очень древние и очень интересные.

И, не останавливаясь, он на ходу изобразил нам несколько телодвижений из входящего тогда в моду твиста.

С грустью вспоминаю теперь какие-то мелочи, которые тогда почти не замечались и казались всего лишь смешными.

В перерыве между заседаниями конференции в Институте театра, музыки и кинематографии мы провожали в столовую П. Г. Богатырева. Вспомнили Владимира Яковлевича, которого уже не было среди нас. И вдруг П. Г. Богатырев тоном первокурсника говорит:

— Да, я всегда уважал Владимира Яковлевича, а он меня начал уважать только к концу жизни!

Комично было слышать это из уст большого ученого, старого русского интеллигента, полжизни прожившего в Западной Европе, знаменитого переводчика «Швейка». Но все дело в том, что довольствоваться официальным признанием могут у нас лишь пустячные люди. Настоящему ученому всегда необходимо дружеское участие и сердечное расположение, особенно со стороны достойного коллеги.

Во сне и наяву

Он умел заражать людей не только своей увлеченностью, но и воздействовать внешней манерой вести себя. Недаром его интонации и жесты нет-нет да и проскользнут у тех, кто часто общался с ним: и у В. Е. Гусева, и у Б. Н. Путилова, и у К. В. Чистова. Коллеги, которым близки были его идеи, жили и работали с постоянной оглядкой па него, во внутреннем диалоге с ним. Кто внимательно читал, например, М. И. Стеблина-Каменского, не мог не обратить внимания на пропповские нотки, звучащие в его работах.

Что же касается нас, студентов, то он был для нас постоянным предметом разговоров, а наши встречи мы продолжали не только на спецсеминаре, но и... во сне. И, что удивительно, в наших снах Владимир Яковлевич оставался таким же, каким был в жизни: внешне сдержанным, погруженным и мир своих мыслей, доступным, но требующим от тебя постоянной внутренней готовности столкнуться с его неожиданным высказыванием, непредвиденной реакцией там, где ты ожидал получить лишь одобрение.

Мой товарищ, преподающий сейчас в Педагогическом университете в Москве, готовясь делать доклад на спецсеминаре, одновременно был занят тем, что перешивал свои костюмные брюки на более узкие по тогдашней моде. И то, и другое ему удалось. И вот накануне семинара ему снится, что выходит он к кафедре в нашей тесной аудитории, снимает брюки, аккуратно вешает их на спинку стула и начинает читать доклад.

Владимир Яковлевич, как всегда, внимательно слушает, глядя в какую-то видимую ему одному точку. Но вот доклад окончен, и он говорит:

— Очень большая работа проделана, материал собран значительный. Сразу встал вопрос, как его предварительно объединить и осмыслить. Потребовалась классификация, выполнена она удачно. Правда, брюки можно было бы и не снимать...

И дальше пошли обычные деловые замечания.

Среди коллег

Его «Морфология сказки» и «Исторические корни», как известно, замалчивались и «опровергались» десятилетиями. Он, конечно же, понимал их настоящую цену, как и цену тем легковесным поделкам, каких немало стало в науке 40–50-х годов. Но про себя понимали масштаб его личности и его работ даже его недоброжелатели. Не имея возможности полемизировать по существу, он иногда мимоходом указывал на общий низкий уровень филологической культуры, что говорило само за себя. И когда он, например, вскользь бросал фразу о том, что пресловутое эпическое спокойствие бывает только в малоудачных теориях, этого было вполне достаточно для вдумчивого исследователя. Его отзывы опасались, его одобрение для многих было высочайшей похвалой.

Одиноким ученым он никогда не был. Его университетские товарищи, среди которых ему, как мне казалось, особенно близки были И. П. Еремин и Г. А. Бялый, по-разному представляли нашу великую старую культуру, дыхание которой, благодаря им, ощущали и все мы, студенты, окунувшиеся в освеженную атмосферу жизни конца 50-х — начала 60-х годов.

С коллегами он бывал суров, для студентов был очень доступен. Его заинтересованность поднимала нас в собственных глазах. По его лицу всегда можно было безошибочно судить, нравятся ли ему твои выкладки. Когда это случалось, его характерный немецкий нос слегка краснел, глаза начинали блестеть, и в них появлялась какая-то детская улыбчивость.

— Откуда берутся такие девочки (или мальчики)?! — иногда восклицал он.

И действительно, из его семинара вышло немало известных ученых. А ведь сколько глупостей все мы выплескивали на него! Но шла от него побеждающая сила возвышающего культурного влияния. Он был очень большой педагог, хотя о педагогике, кажется, думал меньше всего. Как это не похоже па современные вузы с их поставленными на поток защитами по педагогике и методике преподавания в ущерб конкретным наукам!

Дела международные

Я учительствовал в Приморском крае, когда в Москве проходил международный конгресс антропологов и этнографов. Мне очень хотелось услышать, что Владимир Яковлевич находится в центре внимания съехавшихся фольклористов, и я старался найти его имя в сообщениях радио и газетных публикациях. Наконец мне показалось, что в одном из центральных изданий, на срезе фотографии, мелькнули его нос, эспаньолка и прядь седых волос. Приехав в Ленинград, я спросил его об этом. Он сказал, что его приглашали возглавить работу фольклористов, но при этом дали понять, что возлагают на него контроль за идеологическим содержанием докладов. Он сразу же и без колебаний отказался, сославшись на нездоровье. Его отсутствие на конгрессе вызвало удивление.

Да, наши учителя, такие несхожие и такие разные, были едины в том, как понимали знаменитую формулу Л. Н. Толстого. И никто из них не делал логического ударения на слове «непротивление», вопреки широко разрекламированной точке зрения главного большевицкого идеолога.

Квартирный вопрос

Своих учеников В. Я. Пропп консультировал дома, отводя для этого вечерние часы и весь отдавая удовольствию беседы, если она оказывалась предметной.

Его квартира в центре города до переезда в новый дом представляла тягостное зрелище, особенно при первых посещениях. Какой-то полуподвал, но высоким беленым стенам выступали протоками сырые полосы. Лампа, свешивающаяся с потолка на длинном шнуре, сам хозяин в теплое осеннее время в валенках из-за сырости. Когда к концу жизни Владимир Яковлевич получил наконец профессорскую квартиру в конце Московского проспекта, его старую, как мне сказали, отказалась взять университетская уборщица.

Да и чего можно было ждать после войны по отношению к ученому с мировым именем, обвиненному за «Исторические корни» в космополитизме? За свои открытия он расплатился инфарктом и больницей, где лежал в большой общей палате и просил забрать его домой, боясь, что не выдержит.

Это было время, о котором как-то рассказывал Г. А. Бялый. Б. В. Томашевский, встретив его один на один в туалете на втором этаже филологического факультета, сказал мрачно:

— Григорий Абрамович, это единственное место, где еще легко дышится!

Переехав на новую квартиру и обставившись, как ему хотелось, Владимир Яковлевич при встречах с удивлением поправившегося больного, которому первое время не даются привычные быстрые движения, восклицал:

— Вот, теперь, кажется, все хорошо, а работать не могу. Сяду за стол, и не получается.

Его бывшим студентам и аспирантам хорошо памятен его новый дом. Он окружен был атмосферой радостного и тревожащего ожидания. Обстановка вокруг, лица и сам шум улицы, казалось, полны были не совсем обычного значения. Теперь, бывая в Петербурге и проезжая изредка эти места, видишь их совсем в другом свете. Что-то навсегда оставило их, отлетело и никогда уже не вернется. Как будто об этом доме сказал древний китайский поэт:

Не раз приходила осень сюда,
Немало промчалось лет.
И люди другие, и жизнь не та,
И прежних гостей уж нет.

О жизни

Я пожаловался ему в письме, что меня оторвали от преподавания и направили в Таманскую дивизию на переподготовку.

— Вам трудно, но Вы живете полной, многообразной и деятельной жизнью, а это счастье. Даже военная служба, которая вырывает Вас из колеи и на время нарушает Ваш творческий труд, все же сама по себе интересна, — ответил он.

В разговоре о Гете он однажды заметил;

— Вы думаете, Вертер покончил с собой потому, что был отвергнут? Нет, конечно. Он не мог вынести той страстной переполненности, которой одала его жизнь. Она требовала выхода, и он не нашел другого.

Когда Владимира Яковлевича не стало, я случайно увидел запись, сделанную им в записной книжке (в это время его, уже смертельно больного, привезли домой с воспалением легких). Там было написано:

«Ощущение счастья бытия».